

КСЕНИЯ БУРЖСКАЯ

ЛИТОРАЛЬ

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
Б91

Редактор ТАТЬЯНА ПОЧУЕВА

Буржская К.

Б91 Литораль : [роман] / Ксения Буржская. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 286 с.

ISBN 978-5-00223-334-2

Это история двух женщин. Одна из них всем должна. Другая как будто свободна, знает, чего хочет, но подчиняется древним силам и прячет под одеждой хвост. Две женщины живут в закрытом городе под Мурманском в ожидании утра в нескончаемой полярной ночи. Они встречаются только под алкогольным наркозом, и в этом их спасение — правда, недолгое. Еще это история мальчика, который пытается найти себя, — находит, обманывается, теряет. И наконец, это история любви: одной, второй и третьей, и ни одна из них никого не спасает. «Океан ушел. Вокруг было пусто. Вылизанный песок ровным палантином накрыл землю».

«Литораль» — четвертый роман писательницы Ксении Буржской.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

© К. Буржская, 2024
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

ISBN 978-5-00223-334-2

Мы всегда что-нибудь придумываем, чтобы
сделать вид, что мы живем.

Сэмюэль Беккет. В ожидании Годо

Все забываю, каждый день забываю, а жизнь
уходит и никогда не вернется, никогда, никогда
мы не уедем в Москву.

Антон Чехов. Три сестры

ПРОЛОГ

Ты тут? Не хочу с тобой разговаривать. Блин, так бесишь меня. Ужас прямо. Но я должен тебе рассказать. Не отвечай. Не хочу, чтобы ты отвечал. Я просто расскажу тебе историю, а ты послушай, окей?

Я ночью короткометражку смотрел. Про всякое там северное говно. Я не фанат, но залип. Там про Хульдру было. *Хульдра — та, что прячется*. Та, что пасет в лесу жирный, откормленный скот. Обычно хульдра выглядит как красивая баба. И волосы у нее еще длинные, и это не просто так. Это из-за того, что у нее есть коровий хвост и дыра в спине. Щель такая, рили, как дупло в платане. И все это надо прятать. Кстати, ты знал, что платаны во Франции, например, все пронумерованы? Идешь такой по улице, а там платан номер 19845, платан номер 358535, далее везде. Да пофиг.

Короче, эта хульдра красивая, и все в нее сразу влюбляются. А она в ответ может всякому научить — от бытовых ремесел до игры на... ну не знаю, типа гусях там или баяне, а еще она может любому устроить богатую кайфовую жизнь. Но это все до тех пор, пока любопытный кто-то не заглянет ей в щель в спине, а вот когда заглянет, она сразу как будто становится не красивая, а наоборот. И если кто ее разлюбил — тому хана. Самая опасная

хульдра — влюбленная или та, которую обидели. Такая может наслать на врага проказу, чесотку и раскаленный железный прут, который всегда будет жечь спину. Прикинь. И еще, говорят, они типа божества. Будто у Адама и Евы было овер до фига детей, и однажды Господь решил их навестить, а Ева испугалась, что он разозлится, что их много, и каких-то спрятала. Тогда Господь сказал: «Так пускай же они всегда прячутся от вас и от всего рода людского!» Dem ska bli huldrå*. А по другой версии, они — потомки Адама от его первого брака с Лилит. Санта-Барбара, понял?

Говорят, и сегодня можно встретить хульдр в некоторых местах. Чаще всего у водопада Кьосфоссен. Хер его знает, где это. Но я думаю, знаешь что? Это как моя мать. Потому что хульдра — та, что прячется. Ну и волосы тоже. Все время думал: зачем ей такие длинные волосы?

* И быть им хульдрами (*швед.*).

Анатолий Николаевич Василевский (так, по крайней мере, указано в его паспорте, который он предъявил) вышел из отделения полиции ближе к вечеру, солнце уже закатилось. Он то и дело задумывался и вляпывался в подмерзшую бурю грязь, та звонко чавкала под его подошвами.

«Анатолий Николаевич, — обратился к нему молодой взъерошенный лейтенант. — Идите домой, мы приняли дело и будем искать. Если до завтра не объявится, с вами свяжется следователь, он вам позвонит».

Звучало это одновременно насмешливо и сочувственно, лейтенант, который годился ему в сыновья или в лучшем случае — в младшие братья, долго сидел молча и просто наблюдал, пока старший по званию принимал у Анатолия бумагу — не с первого раза, между прочим.

Сначала ему трижды пришлось пересказывать обстоятельства того дня, когда в последний раз видел жену, потом долго не мог подцепить пальцем из-под обложки паспорта ее потрепанное фото — не очень-то свежее, положил туда по молодости еще, а когда паспорт недавно менял на «крайний», как ему сообщили в МФЦ, оставил старую обложку вместе со всеми скопившимися там

потерявшими цвет чеками и поблекшими мятыми фотографиями.

Мент, который принял заявление (для Анатолия все они были «менты», он не разбирался в званиях и звездочках, а лейтенант единственный из всех представился по форме), оплывший, усталый и какой-то карикатурный даже, дыхнул на Анатолия укусно и, мусоля в толстых пальцах мелкую карточку Анны, ухмыльнулся: «Ничего так».

Анатолия от этого немного перекосило, ему не понравился тон, вид и процесс, однако он быстро взял себя в руки: «ничего» его жена или «чего», уже принципиального значения не имело — нужно было просто ее найти.

— Сбежала, поди, от тебя? — снова криво усмехнулся мент, но Анатолий помотал головой:

— Она бы не стала.

— Все так говорят, — философски ответил тот. — А потом выясняется. Может, ты бил ее?

Анатолий удивился, как быстро все эти люди берут над ним власть и не соблюдают даже простые правила вежливости, но снова помотал головой:

— Не бил.

Дома он сразу же сунул голову под холодную воду, ибо душная жара — батареи на максимум — сразу сбила его с ног, голова закружилась. Погода скакала от минус восемнадцати до плюс четырех, третий день не могла определиться.

Третий день Анатолий не мог найти Анну.

Дома за столом перед остывшей яичницей сидел его сын — Наум Анатольевич, то же самое, Василевский, который все три дня прогуливал школу и повторял:

— Это я в-виноват. Это из-за меня.

Анатолий махнул рукой, подвинул к себе тарелку и молча доел яичницу.

— Как в ментовке п-п-прошло? — спросил сын.

— Нормально.

Но сам Анатолий не знал, нормально прошло или нет и будут ли они искать, потому что в первый день сказали «ждите три дня, может, вернется», а сегодня, так и быть, согласились «ну хорошо, прием заявление», но будут ли искать? Между бумажкой и действием разница огромная. Еще он подумал, что правильнее было бы показать ментам фото из телефона, уж точно более актуальное, чем то, из паспорта, но даже ведь не спросили, а он растерялся.

Писать заявление его отправили в коридор, где ручки привязаны к стульям веревочками. Бумагу выдали, он долго пристраивал ее на коленях, а потом сел на корточки перед стулом и начал писать — практически школьное сочинение: «Я, Василевский Анатолий Николаевич, 1979 года рождения, хочу заявить о пропаже моей жены, Василевской Анны Сергеевны, 1981 года рождения...»

Ушла из дома и не вернулась. А из дома ли она ушла?

Анатолий плохо помнил те сутки.

Сначала он ехал за сыном, летел самолетом. Анна просто позвонила ему и сказала: «Съезди». И он поехал.

— У вашей жены есть особенности?

Моя жена — особенная? Я никогда не думал о ней так. Давайте я расскажу о том, что помню. Я влюбился в нее, потому что она смеялась над моими шутками. Звучит странно, но это правда. Никогда не думал до встречи с ней, что так приятно, когда кто-то смеется над твоими шутками. В детстве мне говорили, что я зануда. Конечно, она была красивой. Все эти ее длинные волосы и ресницы. Они так смешно подрагивают, когда она спит. Впрочем, я давно не замечал этого. В смысле не смотрел на нее по утрам. Ну, годы идут. Годы проходят — и вы уже многого не замечаете. У вас есть жена? Как давно? А-а. Поймете позже. Сначала вы радуетесь каждому дню, все в этом человеке кажется вам идеальным, даже его недостатки, а потом меняется все — то, что она говорит и, главное, как говорит, и даже запах, вы перестаете замечать все то, что вас так восхищало, и вы такой: ну да, это моя жена, ничего особенного. Принимаете как данность. А потом и вовсе перестаете ее узнавать...

— Все это не пригодится. Назовите какие-то особенности, по которым ее легко... опознать. То есть узнать.

Ну... У нее длинные темные волосы. Кстати, и правда странно, что она не седая, да? Когда вообще женщины начинают седеть? У меня вот уже

все белое, даже борода. Может, она красилась? Я не спрашивал. Какой именно цвет? Ну, коричневый или черный, видимо, я в этом не силен, но не совсем черный все-таки, не как у азиатов. Глаза темные. То есть карие. Как это правильно называется. Скорее худая. Хотя, возможно... Она что-то говорила, что не ест после шести. Вроде бы это значит, что худела? Я не специалист. Как по мне, она была нормальная, понимаете? Когда не кожа да кости, есть за что подержаться, но ничего лишнего. Теперь еще... Родинка или как это назвать — бородавка? Короче, что-то такое на подбородке. Но не очень заметная. В чем она была одета. Видите ли, я не очень разбираюсь в женской одежде. Она работает в школе, у нее поэтому одежда как правило... Ну, юбка, рубашка... Смогу ли я увидеть, чего не хватает в шкафу? Нет, я правда не уверен... К тому же она была дома, в домашнем... Это что — футболка, джинсы. Да, почему джинсы? Может быть, просто штаны такие, как спортивные. Серые или? Я правда не помню, простите. Нет, кольцо она не носила. Интересный, кстати, момент. Когда она сняла кольцо? Где-то полгода назад. Точно. Я еще спросил, где кольцо, я такие вещи обычно не замечаю, но тут заметил. А она сказала: пальцы отекают. Я не спрашивал, почему. Нет, она не болела. Я сам кольцо давно не ношу. Причины нет особенной, просто мне неудобно, так и не привык. А она носила. Для нее это было важно. Поэтому я удивился. О разводе мы не говорили. Почему у вас

такие негативные сценарии в голове? Разве я мог ее убить за то, например, что она сняла кольцо? Бред какой-то. Да ни за что я не мог ее убить. Я не злой. Разные бывали чувства, конечно... Обида, ярость. Как у всех. Но никогда не было безразличия. Вот что мне кажется важным. Любые чувства — это терпимо, а вот безразличие — это фатально. Фаталити, как говорила ее подружка, змея подколотная. Я не люблю ее подружек, никогда не любил. А ее любил в целом. Говорю как есть. Как было.

2

Днем темно, ночью темно, невыносимо. Анна в спальне шторы по привычке распахивает с утра, а там все то же — матовая угольная мгла. Сейчас четыре утра или десять вечера — она не знает. Сколько до будильника? Просила ведь Толю починить электронные часы, но он без конца забывает. Анна нащупывает на тумбочке телефон, тот отзывается нехотя, трещина проходит прямо посередине — между цифрами ноль шесть и тридцать восемь. Через двадцать минут подъем, стоит ли ждать? Анна встает, стараясь не наступить на вздыбленную волну линолеума. На кухне тихо. Тикает плита, как бомба с часовым механизмом: таймер тоже никак не починится, потому что сломанные вещи редко приходят в норму сами. Анна крутит ручку жалюзи — темнота.

В ванной пахнет сыростью, кое-где проступили черные грядки плесени, Анна проверяет колготки на змеевике — высохли и висят плетьюми. В голове сама собой возникает мысль, что на них можно было бы и повеситься. Но все-таки не сегодня.

Выйдя из ванной в густом облаке пара с запахом ванили, Анна запахивает халат, прячет в него свое бледное потяжелевшее тело. Она долго рассматривала себя в зеркале, картина неутешительная:

по бедрам разошлись сеточкой фиолетовые сосудистые тропинки, живот осунулся, плечи все норовят соединиться с фасадом, подмяв под себя то, что она прячет уже по привычке, — слегка вытянутую грудь с большими, как вишня, сосками.

Анна выходит, не глядя под ноги, — читает новости в телефоне. Ничем хорошим это для нее не кончится: тяжелое предчувствие наваливается комодом, подминает под себя все. Толя выныривает из-под одеяла — всклокоченный, несвежий, знакомый до тошноты. Нащупывает на тумбочке очки, надевает их и своими близорукими глазами таращится на нее, словно кот. Кот, к слову, тоже тут и просит еды длинным гортанным мяэ-э-э. Через левую ногу стреляет судорога — скорее всего, нервное, Анна издает протяжный и тоже животный звук, идет на кухню. Линолеум лежит кусками, топорщится горками — безрукий муж ее, Толя, не в состоянии не то что сделать сам, а просто вызвать специалистов. Анна выдавливает корм из пакетика коту в миску, и он тут же начинает хватать куски, как будто не ел неделю. Она гладит кота ладонью по твердой, мохнатой голове и включает заляпанный чайник.

— Аня, — окликает ее муж. — Что у нас на завтрак?

«Ах ты боже мой, — думает Аня. — Ну что ты вечно, как будто тебе пять лет».

Но вместо упреков, которые сегодня ей не под силу, молча кидает на плиту сковородку.

— Голова не болит? — интересуется Толя.

Голова не болит.

Анна выходит на балкон и молча закуривает. Минус одиннадцать минут жизни, как написано в статье о вреде курения, которую она давеча вдалбливала детям в школе. Дети (впрочем, это уже не дети) плевать на это хотели — завтра их снова будут ловить за школьным крыльцом. На балконе срач — зимняя резина, какие-то банки, краска, санки и лыжи, все ненужное. Анна думает, что можно все это выбросить. Поставить тут столик, как в Италии. Стульчики. Цветочки. И знает, что ничего этого не будет. Да в общем, даже если поставить — кто тут будет сидеть и зачем? Вид отсюда не то чтобы привлекательный — пятиэтажки и жопа «Пятерочки», куда по утрам приезжает грузовик и начинает разгружаться: гремят ящики, орут грузчики, чаще всего матом — с акцентом.

А ночь? Как цветы переживут эту бесконечную ночь? Полярная ночь длится сорок дней, осталось два. Потом еще несколько месяцев невнятных сумерек... Анна размазывает бычок о почерневший бетон балкона и выбрасывает за борт. Где-то за верхушками деревьев накатывает на берег океан — огромный, как уныние Анны, страшный, как супружеское отращение.

Толя сидит за столом в длинных выцветших трусах и пожелтевшей майке. На столе дымятся горячие бутерброды, нарезан заветренный сыр, колбаса накромсана, будто ее жестоко убили. Но все же

это забота: Анна на миг даже чувствует благодарность — ну надо же, сделал завтрак, господи, какая прелесть. Она обнимает Толю и целует его в небритую щеку.

— Вечером мать приедет, — извиняющимся тоном говорит Толя, и Анна начинает понимать, почему вдруг был подан завтрак. — Старый Новый год праздновать.

— То есть ты только сейчас решил мне это сообщить? — воспламеняется Анна.

Свекровь приезжает, ладно, но это значит: вымыть пол, убрать бардак, приготовить ужин. Убрать с балкона окурки, прийти с работы раньше, купить продукты.

— Нет, ну правда. Ну каждый раз.

Анна вынимает пакет из пакета с пакетами, яростно встряхивает его, чтобы он обрел какую-то форму, и кидает туда все подряд — обертки, объедки, салфетки. Распахивает балкон, выворачивает пепельницу.

— Ну прости, пожалуйста, — бубнит Толя. — Давай помогу.

— Посуду помой, — фыркает на него Анна и выходит вместе с пакетом из кухни. — И елку вынеси в конце концов. Весь пол уже в иголках.

Толя молча кивает, вытирает руки о майку и встает к станку. Посуды накопилось дня за два. Толя вздыхает.

— Или Наума попроси! — кричит Анна из прихожей. — Пора его уже будить, в школу опоздает.

Вечером приедет не только свекровь, еще обещала зайти Алка: громкая, шумная, прямолинейная, локтями во все стороны машет — со стола всегда что-нибудь падает и непременно вдребезги. Водка, сканворды, караоке, дети-подростки, две собаки лохматые — нужны силы, чтобы с ними справляться, хотя бы перекричать. Так что у Алки глубокий командный голос. Ее всегда много. Толя ее не любит. Говорит, что эта женщина всегда сует свой нос куда не следует. Но Алка не сует, она принимает живое и деятельное участие. Анна привыкла: Алка ее лучшая подруга, какая ни есть. Есть и еще одна. Тонкая, почти прозрачная Еся: учительница немецкого, опера и балет, коллекция фарфора, два неудачных брака, чайлдфри (или просто не получилось, что намного скорее), маленькая тупая собачка. Алка и Еся — как день и ночь, полные противоположности, но вокруг Анны они как-то соединились и теперь ходят парой, прямо как Ахеджакова и Талызина в новогоднюю ночь.

В последнее время Анна от них устала.

Алка все время лезет с непрошеными советами: а он что? А она что? А я слышала! А ты попробуй так!

А Еся... Анна вдруг вспоминает, как взялась худеть, вычерпала из дома все — макаронны, картошку, сладкое. Сын начал прятать всю запрещенку в своей прикроватной тумбочке. Худели с Толей вдвоем — вместе сподручнее и не так обидно. И ведь Толя, зараза, сбрасывал быстрее,

а Анна медленно — и первым делом, конечно, ушла грудь. Но все равно старалась — ограничивала себя во всем, и подруги, само собой, знали и поддерживали. То есть поддерживала Алка, она-то сама не могла себя ограничить ни в чем, и чужое усердие ее искренне поражало. А вот Еся была не в восторге: все время рассказывала Анне, что та портит желудок и грудь совсем плоская стала, а она и раньше была не фонтан. Анна в ответ улыбалась, а что тут скажешь? Но однажды Анна устроила вечеринку — по случаю, кажется, 8 Марта. Пригласила девчонок, купила вино по акции. Алка пришла с пластиковыми ранневесенними фруктами из заграничных теплиц — все-таки праздник весны. А Еся, змея, вдруг зачем-то притащила торт — жирный, весь из себя крем. И сказала Анне с нежной улыбкой: «Это тебе». «Я же худею, Есенька», — удивилась Анна, а та обиделась как будто: «Ну я же старалась, весь день у плиты».

То есть не лень ей, сучке, было купить коржей, заварить крем и корячиться, лишь бы Анна не стала худой. Потому что на Анну мужики западали, несмотря ни на что, а Еся была одна — долго, достаточно долго для того, чтобы превратиться в злую, несносную тварь, и хотя они были знакомы уже лет пятнадцать, Анна догадывалась, что дружбе конец.

Еся все же заставила ее съесть кусок — дождалась, пока она напьется, и тут же впихнула. Анна съела, но обещала себе сразу же помнить про этот случай.

А торт был вкусный, даже очень.
Готовила Еся славно.

Толя помыл, громыхая, посуду и стоит теперь как часовой над ее душой.

Анна красит глаза, согнувшись над низким зеркалом в прихожей.

— Чего?

— Да так. Красивая сегодня.

Анна закатывает глаза — звучало неискренне.

Она и не помнит, когда в последний раз это было по-настоящему. Когда Толя ей что-нибудь такое говорил, от чего быстрее билось сердце, или когда он ей что-то такое дарил, что она хотя бы запомнила. Анна спрашивала себя: что он подарил мне на прошлый Новый год? А на день рождения? И не помнила. Хочется ли ей обнимать его? Тоже вопрос уровня «продвинутый». А можно не отвечать?

Ей было двадцать пять, когда они встретились. Не страстный роман, но приемлемый. Смущало Анну многое, в том числе — каким бы смешным это ни казалось — его нелепое имя. То-ля как приговор. Еще и мать добавила:

— Нет, — сказала она, — ну ты серьезно? Толя — это ж диагноз.

Но у Толи были красивые синие джинсы. К тому же он сильно старался: забирал Анну с работы на новенькой кредитной машине, строго раз в неделю приносил цветы — заветренные

хризантемы или длинноногие розы — чаще красные или белые, а один раз даже нашел где-то тюльпаны в декабре, прямо как падчерица подснежники.

Толя работал инженером на небольшом производстве в Мурманске, получал три копейки, и мать (которая завтра приедет) активно пропихивала его на «Нерпу» — судоремонтный завод, где по сей день чинят атомные подводные лодки Северного флота. Свекровь почему-то считала, что на таком большом предприятии с историей Толя непременно зарабатывает много денег. И заработал бы, если бы воровал, но он был кристально честен, поэтому в «Нерпе» оставался таким же нищим, как был, — только в Снежногорске. «Зато квартира своя», — любила приговаривать Антонина Борисовна, довольно осматривая их с Анной пятьдесят два квадратных метра. У самой свекрови была трешка в Мурманске, в ней *наш Толенька вырос*, и в ней же они с Анной жили первый год после свадьбы — до рождения Наума.

Анна тяжело переносила совместную жизнь со свекровью, тогда ей казалось, что проще переехать в маленький город, зато в отдельное жилье, тем более — ну что там езды до Мурманска — каких-то шестьдесят километров, час.

Антонина Борисовна мечтательно говорила про Снежногорск: «Край холодных снегов и горячих сердец». А Анна думала, спустя шестнадцать лет: *дыра ебаная*.

Алка приезжала в гости по спецпропуску, с Есей познакомились в школе — и сразу подружились, как только Анна туда устроилась.

Мать Анны переезду тоже обрадовалась: будешь, сказала она, с мужем как за каменной стеной, и Анна не поняла, что имелось в виду — что теперь она в закрытом городе, как за решеткой, или что на Толю можно положиться?

Зная мать, скорее — первое.

Анна и сама не могла ответить, можно ли на Толю положиться. Он был добрый, милый, заботливый, но решать проблемы не умел совсем — пасовал перед трудностями. Анне сначала казалось, что это не главное, потом стало раздражать.

«Ты на мужика не дави, — говорила ей мать. — Мужик давление не очень любит».

А как же тогда?

Очевидно, что решать проблемы нужно было Анне.

С вздыбленным линолеумом, очередь на путевку, разрешениями для друзей и родителей, планами на будущее, маленьким Наумом.

А Наум не был беспроблемным ребенком. В детстве он много болел, и сидела с ним Анна. Пропускала работу, вскакивала ночью, гоняла по поликлиникам — а как? Не выписывать же бабушку из соседнего города каждый месяц. Поди поищи в Снежногорске няню, а если бы и нашла — откуда деньги?

Наум не говорил до трех лет совсем, просто молчал. Все понимал, показывал пальцем — цвета,

буквы. Но не говорил. Врачи разводили руками: нет объективных причин, ждите, заговорит.

Но Анна боялась, что так и останется. Что значит «нет причин»? Причина должна быть всегда.

Она таскала Наума по врачам, искала ответ, ей хотелось принять решение: лечить, искать таблетки, водить на какую-то реабилитацию? Она всматривалась в спокойного, как и Толя, Наума, пыталась найти в нем признаки того, что не давало ему произносить слова, — травмы, аутизма, психиатрического.

Свекровь подливала масла в огонь, говорила, что они внука не развивают, ну как они — она, Анна, даром что учительница.

«Вы, Аннушка, должны с ним чаще заниматься, может, на развивашки какие-то пойти, ну полно же развивашек...»

«Каких это развивашек в Снежногорске полно? — злобно спрашивала уставшая Анна. — Вот сами и сходите, вам все равно заняться нечем».

Выходило грубо, потом приходилось извиняться, приглашать в гости, накрывать на стол. И пропуск, конечно, делать — а кто его сделает?

Как будто стараясь помочь матери, Наум постепенно начал выдавать слова, они вываливались из него сначала бессмысленно, но все же связно. Он мог просто сидеть и произносить какие-то фразы, как будто где-то они у него там лежали на складе — прямо стопочками, и он их оттуда загружал в свою голову — одну за другой.

Нормально Наум заговорил в четыре. И сразу же стал заикаться. Но это уже на общем фоне казалось мелочью — Анна успокоилась. В конце концов, многие заикаются, кто-то буквы не выговаривает всю жизнь, это уже не порок. И сколько Антонина Борисовна ни клевала ее тем, что Наума нужно отвести к логопеду, психологу и лечить заикание, Анна уперлась рогом — не позволю залечивать сына.

«Вы говорили, он никогда не заговорит, а он заговорил. Теперь отстаньте от него. От нас отстаньте. С заиканием он как-нибудь справится. Или нет».

Толя в таких баталиях обычно участия не принимал — приходил домой с работы, садился за стол и просил: «Ма-а-ам, передай горчички». Причем это дурацкое «мам» у него было обращением и к своей собственной матери, и к матери Наума, как только она обрела еще и этот статус.

«Не мамкай мне, — много раз говорила ему Анна. — Иначе я чувствую, что у меня два сына». «Да ладно тебе, Нюш, — миролюбиво говорил Толя. — Горчички передай».

Эта его привычка любую еду есть «с горчичкой» раздражала Анну. Первые годы она старалась, готовила ему — по рецептам из интернета, из книг разных кулинарных (там на картинках всегда был красиво сервированный стол, и посуда для особых случаев, и прочие мелочи — салфеточки там, и приборы, украшенные вензелями, и Анна страшно всем в этих книгах завидовала, особенно

авторам — не перетрудились они, поди, пока готовили свой выставочный образец).

Но Толя во все приготовленные ею блюда клал свою горчичку. «Да ты же вкуса вообще не поймешь!» — расстроено говорила Анна, а муж отвечал: «Ты же знаешь, я не привередливый», и она вообще не могла понять, причем тут это. «Хорошо, в следующий раз тогда корм кошачий тебе подам, в миске». «Ну не обижайся, — просил Толя, быстро заталкивая в себя любую еду с горчичкой сверху. — Я все это ценю, правда. Просто я *так* люблю».

Постепенно уходит все, знала Анна, и любовь, и розы на длинных ногах, и обеды по учебнику. Постепенно — знала Анна — приходит усталость. Обида, неоправданные ожидания, несбывшиеся надежды. Постепенно в негодность приходит все — линолеум, плитка, брак. Вода в унитазе оставляет ржавый оранжевый след. И хочется просто вырваться. Уехать в Мурманск на один день. Не сказать никому. Потеряться в толпе. Встретить кого-то и снова почувствовать себя живой. Но только не Анна. Нет. Она никогда так не делает. Сегодня вечером она придет домой, пропылесосит, вытрет пыль, откроет одну из старых своих кулинарных книг и что-нибудь обязательно приготовит. Надо только придумать что — от этого зависит, что взять в магазине. Хорошо бы это сделал Толя, ничего при этом не перепутав. Анна помнит, как однажды собирала Наума в лагерь. Отправила Толю купить что-то ему в дорогу, ну что

там обычно берут в автобус — печенье, сушки, чипсы какие-то...

— Что тебе дать с собой? — спросила она Наума.

— Мне все равно, — отозвался бесстрастный Наум. — Главное, чтобы не п-пряники.

— Купи что угодно, только не пряники, — перевела Анна Толе, стоящему в дверях.

Толи не было долго, вернулся с набитым кульком. «Пряники еле нашел, — довольно сказал он. — Нигде не было».

...Анна стоит в прихожей с вонючим пакетом и думает, что, может быть, стоило отменить Алку или Есю, но, с другой стороны, Алка (или Еся) замкнет на себя Антонину Борисовну и можно будет не вести бессмысленных светских бесед. Ладно, один вечер. Один вечер, а потом пусть Толя сам разбирается. Две хозяйки на кухне все равно невозможны, а свекруха ее все время оттуда оттирала, готовила «своим мальчикам», и пресечь это было решительно невозможно — за этим следовала война.

— Мусор захватишь? — спрашивает Толя, стоя в дверях в своих трусах из магазина «Фамилия».

Анна путается в сумке, шарфе, пакете, ругается негромко и со всем этим скарбом вываливается на лестничную клетку.

И только там в холодном искусственном свете обнаруживает длинную уродливую стрелку на колготках.

В школьном предбаннике не протолкнуться. Утром тут всегда суета, как на вокзале: дети приходят, родители уходят, у кого-то непременно есть вопрос к учителю, а написать в ватсап почему-то нельзя, нужно толкаться. И знают же, что в школу не пустят никого, кроме детей, а все равно — позовите Анну Сергевну. Что у вас? У нас двойка. Исправляет пусть. Так он не понимает, дурак, может, поможете разобраться? Ну, занятие какое-то дополнительное, я заплачу. Уважаемые родители, у нас тут не магазин. На продленку пусть приходит, и там разберемся. Бесплатно, что ли?

А еще родительский комитет. Анна Сергевна, куда поедем в этом триместре? Мы тут собрали денежку мальчикам на двадцать третье февраля, девочкам на восьмое марта, скажите, а на девятое мая уже собирать?

Анна прорывается сквозь кордоны к гардеробу, потом к своему кабинету, на каждом шагу рискует с кем-то столкнуться — и тогда придется разговаривать, а ей, между прочим, еще восемь часов болтать, не закрывая рта.

До кабинета осталось каких-нибудь двадцать шагов, но тут дорогу ей преграждает баржа Сусанна Валерьевна, завуч.

— Вы, Анна Сергевна, почему не на линейке? Сегодня, между прочим, понедельник.

— Сусанна Валерьевна, у меня урок через пятнадцать минут, родители еще как озверели, а мне распечатки подготовить надо. Уж отстоят они как-нибудь линейку без меня.

— Нет, Анна Сергевна, так не пойдет. Отстоять-то они отстоят, но вы должны понимать, какой пример подаете детям. Сегодня вы линейку прогуливаете, завтра они.

Сусанна Валерьевна выплевывает слова ей прямо в лицо, Анна чувствует этот запах — бесконечного унижения.

— Я не прогуливаю, вы же видите, что я иду к себе на урок.

— А когда проверка придет, — гнет свою линию завуч, — вы им попробуйте объяснить, почему вы пропускаете торжественное поднятие флага.

— Да что ж в нем торжественного, объясните мне, ради бога! — вскрикивает Анна, которая начинает терять терпение. — Сегодня, может быть, праздник какой-то? Или знаменательная дата?

— Любое поднятие флага нашей и вашей, между прочим, Анна Сергевна, страны, это торжество. А что до праздника, сегодня старый Новый год. Отмечаете?

— Приходится, — уклончиво отвечает Анна, проворачивая ключ в двери кабинета. — Я вас услышала, позвольте мне приступить к работе?

Сусанна Валерьевна качает головой и дает Анне войти.

— Не нравится мне это, Анна Сергевна. Я буду за вам наблюдать. Свободны.

Вольно — как в армии. Анна заходит в кабинет и закрывает дверь. Прижимается лбом к холодной шершавой поверхности. Если бы кто-то

из учеников сейчас дернул ручку, Анна вылетела бы в рекреацию головой в аквариум, но ученики, как было сказано, линейку не прогуливают. В отличие от нее.

Никаких распечаток Анна сегодня делать, конечно же, не планирует. Она просто садится в свое офисное кресло (родительский комитет в начале года сказал, что так будет меньше болеть спина) и закрывает глаза.

3

...Как твое имя? — спрашивает он.

Мое имя?

Да, скажи свое имя.

Меня зовут Хлоя.

Хм. И что это за имя такое?

Имя. А что?

Странное.

Ну.

Хочешь выпить, Хлоя?

Я вроде пью.

Хочешь еще выпить?

Почему бы и нет.

Я закажу.

Окей.

Хлоя нервно собирает свои волосы в хвост, вспоминает на минуту, как утром вытряхивала их с балкона — опаздывала на работу, за окном уже вовсю гремел гимн. По понедельникам она всегда приходила на час позже. Волосы стекали по перилам, а муж толстожопой коровы, как всегда, окликал ее, чтобы она нахрен не вывалилась. Муж толстожопой коровы — Душнила — все время нудел: перила низкие, а она оборачивалась к нему и хотела спросить: *твое какое дело?*

И спрашивала.

Делить жизнь с толстожопой коровой и ее мужем было делом хлопотным и неблагодарным, поэтому Хлоя — а это было ее имя, без дураков — любила вечером пойти в замызганный бар в торце дома и пропустить стаканчик, чтобы после только упасть в не заправленную с утра постель и не слышать ни шагов Душнилы, ни голоса толстожопой, которая взывала к ее совести над самым виском. Совести у нее давно уже не было, как и иллюзий.

Толстожопую звали Анной. Ну а как бы еще ее могли звать? Машей, Катей — выбора у таких женщин нет. «Простая русская баба» как приговор. Хлоя морщилась каждый раз, когда думала об этом, и Анны стыдилась. Анна тоже к Хлое относилась с презрением, как и Душнила. «Ты сейчас прямо как шваль», — говорил он иногда жене с отвращением, под швалью имея в виду никого иного, как Хлою, и Анна кривила и без того кривое лицо. Это вот выражение — застывшего уныния и безразличия — уголками рта вниз — сопровождало Душнилу все долгие годы их брака, и даже когда, казалось бы, все было хорошо, его терзали смутные сомнения, что Анна несчастна.

Иначе у Хлои. Как впервые выпила в пятнадцать с пацанами за длинным рядом вросших в землю ржавых гаражей (в особенности с одним пацаном, чьи руки она обнаружила через какое-то время у себя под футболкой), так и открыла в себе нечто удивительное: как будто тот человек, которого она знала и кем она, безусловно, являлась,